

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встреч, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском цетру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы. И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплюснутая, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне. Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки – вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мироздания. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы, не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю. Сколько раз погибал я и мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшиной горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обметанный зеленым мехом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора. И лица, лица... Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя – воспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч... Память моя. сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, – слышишь? – воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика – и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами, запахами. Мне говорили: этакая надсада не пройдет даром! Буду я болен и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные? Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе – учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы. Первый в жизни шрам. Сколько потом их будет на теле и в душе? ...Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепетулось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовый оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне озаренный солнцем деревенский мальчик. Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой, переваливаясь неуклюже, будто линялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями но замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клокочущим металлом; умников, сотворивших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязг; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов... Сквозь все это, сквозь! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату – ответную любовь. Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почувяли ее токи, вот уже чистая роса врачует ссадины. Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: "Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто..." ...Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, – неужто он был мною, а я им?! * * * Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмытым крутоярем, заросшим шептун- травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьюбо огород, косо и шатко идущий вдоль лога, в вешневодье залитого до увалов дикой воюю, оставившей после отката пластушины льда и свежие водомоины – земельные раны, которые тут же начинало затягивать

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru зеленой кожицей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал незасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провальнo-черный, на него боязно было ступать. В бочажине застревали щурята, похожие на складной ножик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята быстро управлялись с гальянами, самих щурят ребятишки выдергивали волосяной петлей, либо коршунье и вороны хватали, когда они опрокидывались от удушья кверху брюхом – в яму сваливали всякий хлам. Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. "Как вы тут живете? – возмущался. – Тина, вонь, запущенность". Трясогузки сидят, сидят да как взовьются, да боем на гостя, затрепыхаются, заперевертываются, что скомканные бумажки, и раз! – опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут. С гор напоззали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Среде лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травы лез, прятался вшивый лук, золотушная трава, несъедобная колючка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхосытку зеленую мелочь, но чаще стоял просто так, задумчиво глаза в заречные дали, или спал стоя. Ни кулижку, ни огородные межи плугом не теснили – хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке. Левого прясла у огорода не было – семья мальчика придерживалась правила: "Не живи с сусеками, а живи с соседями", – и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого заграждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середе лета малиново кипящим кипреем и мясистыми бодьяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закатившийся мячик или блудную цыпушку – так после хоть облизывай его – весь в кипрейном меду. Густо гудели шершни в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопытство заставило как-то ткнуть удилицем в это загадочное дырчатое сооружение. Что из того получилось – лучше и не вспоминать... Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошаденка из худой упряжки, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой. На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, по уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гораздый. Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов – отовсюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистая жалища-летунья зудливо стрекалась. Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?! Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах утихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчетливей видели глаза, и весь мир являлся ему новосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли – все сущее вместилось в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним пряслом, примыкающим к увалу, там все равно, что в телефоне, висащем в сплавной конторе, – все скрыто: говорит телефон, а никого нету! Вот и постигни! Нет, за огородом еще огороды, дворы с утихшей скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, люди, неторопливые, умиротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Совсем бы потерялся мальчик в ночном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вон в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на завалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником, повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки-хитрованки под видом – ближе, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. "Молодые халды! Кровя в их пышут!" – заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной, умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: выведать секретности про семейную жизнь, надуреться всласть и еще каких-никаких

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru
развлечений дожидаться. Клуб им тут, окаанным! Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбьли, чтобы остаться в банной тайности одним, ждатель, не заглянут ли парни в банное оконце – таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде. Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалются парни друг на дружку, чего увидят – не увидят, но дыхание в груди сопрет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосы трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от знобщей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валяются с полка, задувают лампу, во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб – как бы, упасы Боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету. Голова и размягчившееся тело мальчика остывают, укрепляются. Увявшее от жары сознание начинает править на свою дорогу; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, мягко высленное пером и соломками. Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия. Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистой прохладой, настоящей па всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощи, цветочной пыли, влажной земли, окрапленной семенами трав и острой стружкой сквозящего из бурьянов медового аромата. Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев – дерануло из бани чадо, которому отскабливали ногтями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь – и горестный голос беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми. Суббота! Вопят и стонут по деревенским баням терзаемые дети. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется. Мальчик обрадованно поддернул штаны – у него-то уж все позади! Ковырнул из гряды лакомую овощь: "девица в темнице – коса на улице". Мала еще "девица-то", и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму. Такое наслаждение! А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляжие одежонку с него срывают, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, но уж началось, успевай поворачивайся и главное дело – крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного – сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенок мертвых... Вырываясь из крепких сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосцами грудей по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали друг дружке мальчика и скребли, скребли, так больно скребли! Отплевываясь от грудей еще брезгливей, чем от мыла, сторонясь и везде натываясь все же на них – от женщин в бане куда теснее, чем от мужчин! – уже сломленно и покинуто завывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку складную сказывала: "в поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в щелкунец. Всех перебил и царю не спустил!" Царю! А он что? Хлещите... В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко вечерней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая тетка обдала надоедного племяша с головы до ног дряблой водой, пахнувшей березовым листом, приговаривая как положено: "с гуся вода, с лебедя вода, с малого сиротки худоба..." И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по краям кадки, еще и холодночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: "Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего". Мальчик успел лизнуть мокрую ладонь тетки, смочил спекшийся рот. Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на ослизлом полке, бывшие как бы в куче, разделились, и не только груди, но и косматые головы у них обнаружались под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком: "у-у, блядишсы!" Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись громко лупцевать друг дружку вениками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru не погасили. На деревне поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бани колыями, учиняют посрамление, на крик сбегаются матери и принародно таскают девок за волосы, те зарезанно вопят: "Мамонька родимая, бес попутал! Разуменье мое слабое затмил..." Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлюпая носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле каменки свою одежонку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подсказывали, то снова водворялись на место, а мальчику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на девок, не злился уж на них, сил не было не только на зло, но и рубаху натянуть. Соседская девка, к которой в открытую ходил жених, отведавшая сладкого греха, но еще не познавшая бабьих забот и печалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком торчащему его петушку и удивленно спросила: "А чтой-то, девки, у него тут-ка? Какой такой занятый предмет?" Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: "Та-ба-чо-ок!" "Табачо-о-ок?! – продолжала представленье соседская девка. – А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы понюхать табачку-то?" Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изо всех сил сдерживая наполом его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко. Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота и раздражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: "Вот так табачок, ястри его! Крепче дедова!" Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы завершающим все дела хлопком по заду вышибли его в предбанник. Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы. Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями. ...На твердых, круто согнутых коленях деда сидит человечек. Дед обломком ножа скоблит располовиненную брюкву и коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного брусом лезвия истекающую соком мякоть в жадно распахнутый зев. Пошевелит языком малый, сделает вдох – и лакомство живым током прошибает его вздрагивающее чрево, растекается прохладно по жилам. "Вот дак варнак! Вот дак варначина! Не жевавши, мякает!" – сокрушается дед и, кося на малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скобялкой. Но внук никакого роздыху не дает ему и без усталости держит разинутым ловкий рот. Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик с лакомством, малый, клюнув ртом, схватывает с ножа крошево и по-кошачьи облизывается. "Обрежешься!" – стучает его по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна лишь видимость от овощей осталась, обе половинки брюквы превратились в черепушки. Дед нахлобучивает на голову внука половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой. Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех сторон кидаются доклевывать черепушку. Мальчик опрокидывает водопойное корыто, взбирается на него и, вытянув шею, глядит со двора через частокол в густо заросшее пространство огорода. Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зеленой зальсины. "Де-е-е-еда-а-а!" – кричит мальчик, давая понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом, уцеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрупнувшие космы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх и осматривает белорылую, с грязной бородой овощ: нет ли червоточины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо перебирает ногами: "Скорее, деда, скорее!" Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны, остается вспененный след, словно за кораблем, медленно растворяющийся вдаль, – листья, ботва, метелки трав с недовольным шорохом выпрямляются, встают, занимая свое постоянное место на земле. И снова дед садит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, стучает малого черенком по лбу, пока насытившийся, убаженный пузан не зашевелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, и маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, прикиннет к выпуклой груди деда и в теплом ее заветрии распустится доверчиво и защищенно. И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву – он сладкожежа, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает крутыми челюстями, озираясь – не видит ли кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: "Ат ведь варначина! Ат

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru ведь неслух! Умаялся!" – и пытается есть и петь одновременно, покачивая на коленях внука: "Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе..." Но тут же стопорит с песней – дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самоуком дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай Бог, сама услышит! Мальчик не может понять, спит он или еще не спит. Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы теребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видется начал очень знакомый голозадый человек – вот он перебирает руками по частоколу, пыхтит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из венника, сечет крапиву, приговаривая: "Вот тебе! Вот тебе, змея жалючая!.." – И всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лупцует крапиву, аж листья летят, и тем утешается, по щеке катится остатная слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на ноги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих ногах. А сзади хвалят, поощряют, тормозят: "Эдак! Эдак! Эдак, дитятко!" И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще ногах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых шага в жизни! Чьи-то руки подхватили его. уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: "Поше-ол! Поше-о-о-ол!" – подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыркался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось вплотную к глазам, то мячиком отека кивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнув- шийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного полета, и только сознание, только вечная надежда: под тобой, внизу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, – рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего нутра, разожмется, встанет на место, и сам ты не улетишь к "едрене-фене" – по выражению дедушки, неисправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника. Примыкающий к задам дворовых построек клочок жирной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным польханием освещали огород к середине лета, да и мак-то незатейный рос, серенького либо бордового, лампадного цвета с томным крестиком в серединке. В крестике бриллиантом торчала маковка, пушисто убранный, и в пухе том вечно путались толстые шмели. "Кину порохом, встанет городом", – сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь – непроходимым островом темнел среди огорода опятнанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в картошке заводился десяток-другой желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не вызревавших, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они раззуживали удаль юных "огородников". Продравшись в огород, поймав солноворот за шершавый, "под солдата" стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые уши долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали теку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду репу и горох, как известно, сеют для воров, а в селе мальчика – подсолнухи. И вот что непостижимо: изловив в огороде младого налетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым, лютым сладострастием полосовали жалицей по беззащитному заду лиходеев. Сожжение на костре – забава по сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, – пых и сгорел! А вот после жалицы недели две свету белого не видно, ни сесть, ни лечь. Выть, только выть, слезами обливаться и каяться перед бабкой, умоляя ее помазать сметаной место, подвергнутое истязанию. Что еще красивого было на грядах? Нюхотки! Невесть откуда залетевшие, взойдут они, бывало, и до самых холодов прожигают углями гущу зелени. Табак еще украдчиво цвел на бросовых грядах. Добрые гряды под табак ни одна крестьянка не отдаст, считая растение это зряшным и делая потачку мужикам только потому, что без них, без мужиков, в хозяйстве не обойдешься и никого не родишь, и, стало быть, продление рода человеческого остановится. На межах, там разнообразней и свободней все. Там кто кого задавит, тот и растет, дуряя от собственного нахальства. Конечно же, конопля, полынь, жалица, репейники да аржанец-пырей любую живность заглушат. Однако ж нет-нет да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном стрелы синюхи, розетки пжмы, либо татарник заявят о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, оцетинясь всеми колючками, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru живет долго, цветет уверенно; или взметнется над межей нарядный коровяк, сияет дураковатым женихом, радуется самому себе. От ранней весны и до самой зимы, изгнанный отовсюду, клятый-переклятый, лопатами рубленный, свиньями губленный, у заплотов, в устье борозд, на межевых окраинах шорохтел длинными ушами непобедимый хрен. Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода. По весне природа на родине мальчика чуть веселей, да вся она по-за огородом, вся по хребтам, поймам речек, лугам, еланям. Зато весной раздолье в огороде какое! Поставив в церкви свечку, помолившись святым отцам, охранителям коней, в первый день мая по старому стилю выводил лошадей дед в огород, к плугу, а бабка тем временем поясно кланялась с крыльца ему – пахарю, молилась земле, огороду, лесу. Лемех легко, забористо входил в огородную пуховую прель, играючи шли с плугом конишки, пренебрежительно махали хвостами, отфыркиваясь: "Разве это работа?! Вот целик коренить – то работа!" Серая фигура деда, темная на спине от пота, горбится над плугом, и бежит по запяткам его вилючей змейкой ременный бич. Нестерпимо манит приступить ногою бич. Дед сердито подбирает рукой черенок, чтобы жогнуть внука, и жогнет, коли не поспеешь в рыхлую борозду упасть. "Ну погоди, бесенок! Опояшу я те, опояшу!" В конце борозды дед выворачивает плуг из земли и располагается возле бочажины – подымить. Бабка, подрубив ладонью свет, стоит па крыльце и обсуждает сама с собою поведение деда: "Как борозда, так и папироска! Как борозда, так и папироска! Ты к Петровкам-то управишься ли?!" – "Не-е, к Ильину дню, если Бог пособит!.." – ухмыляется дед и свойски подмигивает малому, каково, дескать, мы ее!.. Хватив дверь избы так, что скворцы и галки в бороздах подпрыгивали, будто от выстрела, бабка исчезала, а мальчик с дедом смотрели в огород, половина которого как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, оставшейся от снега. На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки, вороны хватали и хватали студенистых черней, обнаженных и порезанных плугом. Боязливые серые плишки, и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами; даже малая мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно хозяйски вышагивающие по бороздам нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уже непременно в погоню – такая загребущая скотина! Да где ему настичь стремительную дикую птаху, та юрк – и в кустах! Пахать черноземные огороды легко, боронить и вовсе удовольствие. Наперебой лезли парнишки на спину коня, таскающего борону по огороду, затем к плугу приспособливались, и, когда их возраст подходил годам к десяти, они и на пашне, и на сенокосе уже умели управляться с конем, и в застолье уж лишними не числились, сидели твердо среди работников, ели хлеб и огородину, своим трудом добытую. Тяпки в тех местах никто от веку не знал. Картошку не окучивали – огребали руками. Назем в землю не клали, его вывозили за поскотину. Лишь малую часть его использовали на огуречные, "теплые" гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега. В ночное время (от сглазу) бабка с наговорами закапывала в гряду пестик, похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую. Пестик утаивался в гряде для того, чтобы огурец рос как можно крупнее. В согретой гряде напевали серенькие грибки и тут же мерли, ровно ледышки, истаявали бесследно. Выступали ряснички травы в борозде, кралась на гряде повилка, и в душу сеяницы начинали закрадываться сомнения: всхожее ли семя было? Но вот в одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком просекалось что-то. Примериваясь к климату, промаргиваясь на свету, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, бледных листика. Настороженные, готовые запахнуться от испуга, они берегли в теплой гряде мягкую почву огуречной плоти, робкий зародыш будущего растения. Пообвыкнув, укрепясь, собравшись с духом, два листочка выпускали на волю бойкий шершавенький листок, а сами, исполнив службу, отдав всю свою силу и соки свои, никли к земле, желтели и постепенно отмирали, никому уже не интересные и никем не замечаемые. Огуречный листок, воспрянув на свету, тоже робел от одиночества, простора земли и изобилия всякой зелени, приюхивался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепеня от ночной изморози. Нет, не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул по зеленой бечевке из мрака навозных кедр лист за листом, лист за листом, там и усики принялись браво завинчиваться на концах бечевки, пополз листной ворох в борозды, так и прет друг на дружку. И, как всегда неожиданно, засветится в одной из лунок, в зеленом хороводе, желтенький цветочек, словно огонек бакена среди зеленой реки. Живая искорка – первовестник лета! Первый цветок этот всегда почти являлся пустицветом, потому что солнца, тепла и сил его хватало лишь на то, чтоб цвести. Но, как бы указав дорогу цветам, более стойким, способным и плодоносить,

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru
пустоцвет быстро угасал, свертывался, и его растеребляли и съедали земляные муравьи. Под жилистыми листьями, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых огоньков, гряда, что именной пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел на них шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и огурчишко ловко затаился, пупыристый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит. Скоро выпала шушулина, и под ней скромно и чисто заблестело белое рыльце огурца, лучиками простреленного до круглой жунки. Зябкие прыщи, морщины выровнялись, огурец налился соком, заблестел, округлился с боков, и ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на обочину гряды, блесит маслянисто, сияет, наливается и укатиться куда-нибудь норовит. Лежит огурец-удалец, дразнится; семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому, и как ни сдерживайся, как ни юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками резные, цепкие листья, подивуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и поспешишь от искушения подальше. Но, слава тебе Господи, никто не обзарился, не учинил коварства. Уцелел огурец, белопупый молодец! Выстоял! Бабка сорвала его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем внучатам отрезала бабка по пластику – нюхнуть и разговестись, да еще и в окрошку для запаха половина огурчика осталась. Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом! Нет, не стану, не буду об этом! Не поймут-с! Фыркнул еще: "Эка невидаль – огурец! Пойду на рынок и куплю во какую огуречину – до-о-олгую, тепличную!.." * * * Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтоб ногами попусту другую овощ не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство – морковка. Две-три гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт – чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов подальше – огурец и помидор не сопутники в роду-племени огородном – к лучинкам привязаны тощие-претошки дудочки с квелыми, аптечно пахнущими листьями. После прелой избяной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать – сопротивляться или помирать в этой простудной стороне? Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки несмело наряжались в кружево листьев, пробно зажигали одну-другую бледную звездочку цветка, а, вкусив радости цветения, помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, после уж, под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти – аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломаются, рухнут ветви от тяжести. "Под дубком, дубком свилась репа клубком", вечно у нее лист издырявлен, обсосан – все на нее тля какая-то нападает, лохмотья иной раз одни останутся да стерженьки, но она все равно растет, выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится; пока еще шебаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. "Не будь голенаста, будь пузаста!" – наказывала бабка, высаживая квелую, блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюква, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накупью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные редьки. Шеломенчихой их обзывает бабка. Шеломенчихой – вырви глаз! Миром оттерли шелопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урем. А она и там в землянхе своей без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. "У тебя ведь и зубов-то уж нету почти што, а ты все брюхатеешь!" – возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ: "Ешли пошариться, корешок еще найдется!.." За баней, возле старой черемухи есть узенькая расчудесная гряда, засеянная всякой всячиной. То бабкин каприз – всякое оставшееся семя она вольным взмахом развеивала по "бросовой" грядке, громко возвещая: "Для просящих и ворующих!" У леса, спустившегося с гор и любопытно плящегося через заднее прясло, темнела и кудрявилась плетями труженица картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело, в бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картонного цвету для настоя от грыжи. Люди ждут не чем она подивит, а чего она уродит. Так в жизни заведено – от труженика не праздничного наряда и увеселений требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда – на него уповают, ему кланяются и молят о спасении. Ах, картошка, картошка! Ну разве

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать? Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось, но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года молитвенно кланялись кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек. * * * Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с фэзэшной ордою бродил с саками по студеной горной речке, выбрасывая на берег склизких усачей, пескаришек, случалось, и хариус либо ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бору, меж дерев взюшла картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофели променяли последние манатки, даже детские обувочки и платица... И не становилась ведь поперек горла та, омытая слезами, картошка! Забыть бы про то черное дело, снять с души пакостный груз! Да разве возможно наедине-то с собой лгать? Если уж по уму да по совести и чести – спаситель наш – огород! Тут и голову ломать незачем. В огороде же том самоглавнейший спаситель – скромное, многотерпеливое существо, участью-долей схожее с русской женщиной, – картошка! В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли! Ну если уж картошке монумент неловко, неэтично воздвигать – плод все же, овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на русской земле. Был ведь в старые, темные времена и картофельный бунт! В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж дерев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на гарях, на всякой бросовой почве само собой вылезит на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот – прополи, окучь, и все дело. Есть места, где, задушенная дымом и сажей, никакая тварь не выживает, ничто не растет, даже крапива и всякая жалючая травка сдалась, картошка, набравши цвет, тут же его, почернелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле наливается и кормит людей! Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб? Да! Однако хлебу скольк воздано! Сколько о нем спето! Так отчего же, почему же мы, российские люди, не раз, не два спасенные картошкой от глады и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш русский многим обязан ей, родимой картошке! Где угодно готов это утверждать! Фронтвые дороги длинные, расхлюпанные. Пушка идет или тащат ее; танк идет, машина идет, конь ковыляет; солдат бредет вперед на запад, поминая к разу кого надо и не надо. А кухня отстала! Все-то она отстает, проклятая, во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки! Если три раза, так оно тоже ничего, хорошо три-то раза, как положено. Один же раз просто позарез необходимо. Глянул солдат налево – картошка растет! Глянул направо – картошка растет! Лопата при себе. Взял за пыльные космы матушку-кормилицу, лопатой ковырнул, потянул с натугой – и вот полюбуйся: розоватые либо бледно-синие, желтые иль белые, что невестино тело, картохи из земли возникли, рассыпались, лежат, готовые на поддержку тела и души. Дров нету, соломы даже нету?! Не беда! Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай через колено, пали его! И вот забурлила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая! Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное. Как ребяташки с ладошки на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и – в рот, задохнувшись горячим, сытным паром. И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокредло только малость в глазу, но глаз не эта самая, ну как ее? Вот уж и название забывать начал, не говоря про запах. Словом, глаз, как известно, проморгается! Поел картошки солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли, но все равно готов и может вперед двигаться, врагу урон наносить. Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, в золу, под уголья. Да затажное это дело, и бдить все время надо, чтоб не обуглилась овощ. А когда бдить-то? В брюхе ноет, глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй – в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землю, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты какие-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности, в собственном пару! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистоном вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохладжался – картофели в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить ножом не надо – сама отлупится!.. Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из которой люди

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru
наловчились по всему белу свету готовить с лишком две тысячи блюд, опоре нашей жизни – никакого внимания. По гривеннику всем людям труда – главным картофеледадам – собрать, и пусть самые талантливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые голосистые певцы споют картошке гимн на самой широкой площади при всем скоплении народа. Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн! * * * Мальчик идет по заросшей тропинке из бани. Жилки травы-муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки гусятника, головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые, чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь, шеборша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка, жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бочком меж них хотел проскользнуть мальчик – не вышло, штаны намокли, тяжелеют и сползают с живота. Вот и борозда, что широкая дорога, тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей. Удалившись на такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на каменке, аханье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и приседает на корточки у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание высматривает сквозь чашу бурьяна и тонкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь, одному ему известное таинство. Конечно же, как у всякого дедового человека, тайн у него полно, и он их может поведать другу или дедушке. Вот за баней черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала, изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее, и преет теперь черемуха в межевой гущине, от пня наперегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы, источили короеды и муравьи. В сухой выбоине старого пня, под навесом рыжего гриба-тутовика, устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться, но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место. Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие, на маму совсем непохожие птенцы, но они быстро начали выправляться, и то на голове, то на заде перо у них высывалось, рахитные пуща усохли, башка вытянулась в клюв, птенцы как птенцы сделались. Пустое гнездышко лежит в черемушном пеньке, мухоловка с ненасытным, писклявым семейством переселилась в межевые заросли – смекайте, дескать, деточки, сами пропитанье, я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вон подает голосок из бурьяна: "Ти-ти! Ти-ти! Ти-ти..." – "Спите, спите!" – птенцов увещевает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой – пора отправляться на боковую. Да, напомнила ему мухоловка другую птичку – белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой артельного амбара. Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над домами, над лесом, над горами, впархивала во дворы, сделал вид, что совсем она сюда случайно угодила, стремглав неслась по улице над самой дорогой, щебеча, чурлюкая, всех извещая, что прилетела она из дальних стран и так стремилась к родной сибирской деревушке, прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, что совершенно теперь счастлива и, отпраздновав возвращение, порезвившись в радости, сразу же возьмется за дело, отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно потеряет голову. Не потеряла ласточка голову и помнила о своем назначении, думала о будущих птенцах. И все же... все же счастье возвращения ослепило ее, она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться. Прищурился меткий глаз, мальчик метнул камень и сшиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожа от охотничьего азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно, круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором... В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись туманцем вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что пичужка снова полетит, но птичка скомканно опала на землю и не шевелилась. Мальчик выкопал стеклом могилку в тени черемухи, устелил ее пальцами листьями, завернул ласточку в тряпицу и закопал. "Шило-мотовило под небеса уходило, по-бурлацки певало, по-солдатски причитало..." – вспомнилось ему бабушкино присловье. Вспомнилось, как стояла она на крыльце, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестилась: "Вот еще одно лето нам ласточка на крыльшках принесла..." И, не переставая умильно улыбаться, тыкала концом платка в уголки глаз. Долго и недвижно сидел мальчик под черемухой над маленькой могилкой

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru

птички, не мог понять смерть, но первая четкая мысль все же вызрела в нем: "я никогда никого не буду больше убивать". Наивный мальчик! Если бы все в мире делалось по желанию и разуму детей, не ведающих зла! За весну на птичьей могилке выросла трава, другим летом поднялась и кудряво зацвела пестрая саранка. "Это ласточкина душа вылетела из темной земли", – подумал мальчик. Много секретного в огороде! В межах, за постройками, за баней, за городьбой – везде секреты, там вон, у глухой, соприелой стены сарая, секрет особенный – второй год там растет маленькая, но уже кудрявая бузина-пищалка, и никто-никто не знает, что она там растет, и только когда пищалка делается выше мальчика и появятся на ней мелкие, алого цвета ягоды, он покажет ее деду. На дальней гряде, что против бани, после каждой пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рождает в земле, и весной они солдатиками выпрыгивают наверх. Еще из секретного сусликовая нора возле горы была, но веснами сверху катился снеговой кипун. Пьяно дуряя, он летел в лог с гамом и лязгом, казалось, до того разойдется, что в конце концов не только мальчишково подворье, но и все село смочит в реку. Каждую весну кипуном вымывало сусликов из норы, и не выдержали терпеливые зверюшки мучений, умерли от простуды иль подались с худого места в горы, на пашню. Весенними потоками в огород натаскивало всякой всячины: камешник, семена трав, диковинные выворотни, старые маральи рога, скелеты погибнувших птиц, луковки цветов. Как-то уронило жерди и забросило и огород куст смородины. Мокрый был и живой куст, поймался корнем за бок бочажины, растет, жирея с каждым годом и раздаваясь, и черные ягоды начал рожать, не поспеешь их ошипать – воронье или дрозды склюют, поздней осенью по воде бочажины гоняет листья смородины. Но вот беда – лягушата под смородиной летуют, а на лягушат черная змеюга охотится. И прежде чем подступиться к смородине, мальчик швыряет камни в куст, топает ногами, кричит, сатанея от нагоняемого на себя гнева. Целый мир живет, растет потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вон взяли за дело, секут по всей округе траву под корень. Один кузнец проспал, видать, назначенное время и разогревает в себе машинку. Сердитый звук: ?З-з-зык! З-зык!" – раздаётся в капусте. Сказывают, будто козьявка эта прыгучая издает звуки крылами, но мальчик твердо верит – в брюхе у нее есть игрушечного размера сенокосилка. * * * Не все огороды на селе строги, деловиты, незыблемы. Наезжий народ со всячинкой селился в этих местах, и всяк распорядился землей как хотел и умел. Если крестьянская изба напоминала ликом хозяина, то огород всегда по хозяйке, по характеру ее и сноровке. Вроде бы вот они рядом, огороды, земля одинаковая, солнце одно и то же греет, дожди одни и те же на гряды с неба брызжут, воду на поливку из той же реки на коромыслах носят – ан фасон и урожай огородов разный, значит, и ход жизни в двух семьях несхожий. У одной хозяйки огород что святилица: грядки к грядкам ровненькими нарядными половиками расстелены, морковные гряды, присыпанные опилками, чтобы тля всякая не портила, поднимаются сдобными пирогами, борозды меж гряд глубокие, все посажено к месту, все рядком да ладком; которая овощь водолюбива – поближе к воротцам; которая и от дождя вырастет, та подальше, чтоб не мять ее лишку, не топтать зазря землю и борозды не спускать ногами. У другой бабенки на огород глянь и сразу определишь: растяпа, межедомка, может, и пьянчужка. Гряды так и сяк у нее в огороде, одна узкая, другая широкая, борозды не прокопаны, криво, кой-как натоптаны; овощь где густо плюнута, где ветром дунута; воду льет без разбора и смыслу, то два раза на дню, то по неделе ни росинки. Понятно: в таком огороде сорняк из низких борозд на гряды прет, давит всякое полезное растение, обескровливает его. Ребятишки, свои и чужие, партизанят в таком огороде, зеленцом еще овощь таскают, оголят огород, и живи как хочешь, ешь хлеб с кырлыком, с сорняком, стало быть, а на одном хлебе немного наработаешь, да и не хватит хлеба до нового урожая без хорошего приварка. Везде и во всем любовь нужна, раденье, в огородном же деле особенно. Красота, удобство, разумность в огороде полезностью и во всем хозяйстве оборачиваются. Есть хлеб, есть овощи, сыты работники и дети, обихожена скотина, значит, и в семье порядок, ни ругани, ни раздоров, все довольны собой и жизнью, уважительны к соседям, независтливы, гостя посадят не за полый стол, и самим не стыдно на люди показаться. А чем одежда, обувь и уважение людей добыто? Раденьем! Трудом! Уверенность, солидность в жизни дает человеку земельный упорядоченный труд! Надо сказать, что землей баловались и вели хозяйство как попало все больше поселенцы – перекасти-поле. Они и городьбу-то порой не ладили, вместо огурцов и помидор, требующих труда, каждодневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Отроду ягоды в той местности носили из лесу, и вот тебе на: огородную землю ягодой заняли! И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей – вик-то-ри-ей! Викторию ту лихие деревенские "огородники" еще зеленую выдрали с корнями и съели, ничего ягода, хрушка, однако с лесной не сравнишь – воды в ней много и духом слаба. Больше в селе викторию садить никто не решался, и

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru постепенно о ней все забыли. И не случилось бы огородных причуд, если бы бабка мальчика не была выдумщицей и не приплавила бы из города чудные какие-то семечки: одно плоское, сердечком, на огуречное похожее, но гораздо больших размеров. Посадила бабака то семечко на самом конце гряды, возле бани, и поскольку не верила в его полезные свойства, забыла про него. Другое семя – хлеще того! – смахивало па дедушкин зуб, коричневый от табаку, костяной твердости. Бабка размочила семя в чашке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц. Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава мушиной гущиной по всему огороду расползлась. Людское и ребячье наказание – трава. Поли ее, проклятую, ломай все лето поясицу, отсиживай ноги, истязай до трещин руки, жалься о крапиву до пузырей... Крестьянское дитя как-то само собой и в огороде оказывалось – не на кого оставить в избе, на дворе грязно, скот, собаки, вот бабка или тетки и прихватят мальчика с собой. Лазит малый словно в непроходимых дебрях, того и гляди потеряется насовсем. А девкам развлечение: "Девки, а где же у нас парнишко-то? Не видать че-то? Уж не заблудился ли? Курицы его не заклевали бы! А-у-у-у!" – приподняв лицо от гряд и глядя на загородный лес, кричали тетки. Малый – не промах, западет в борозде под листья, и ни гугу. А тетки его ищут, тетки его ищут! Бабка клянет их, ругательски ругает: "Вам бы, халдам, токо беситься! Токо бы зубоскалить! Робить кто будет, нечистый ваш дух?!" Жутко в борозде под листьями лежать, рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырявит, лап у нее скользя, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кругляк влез! Серые слепни мальчика тычут, до крови кусают, мошка тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их – долго не выдержать, выскакивать надо из укрытия, но раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головою: "Во-о-он он где, варначина! Имай его!" С хохотом и звоном ударится малый бежать по огороду, тетки следом за ним, кричат, ловят и до самой реки его, совсем уж ошалелого, допрут, а там ну брызгаться, ну дуреть, норовят малого в воду плюхнуть. Он уцепится за тетку, с мясом не оторвешь, орет, призывая бабку на помощь. Бабка тут как тут: катится с яру, машет хворостиной. "И-и-я-а-а-а-а вот вам, кобылицы экие! И я вот отхожу которую! Гли-ко, почернел весь парень – перепужали!" Девки врассыпную, на ходу кофтенки, юбки сбрасывают – и бултых с визгом в воду, машут руками, ногами бьют, брызги до неба! Бабка по берегу бегаёт, хворостиной машет, никого достать не может. Утихомиранные, освеженные водой, снова плетутся работники в огород, под палящее солнце, и малый ковыляет следом. Мошка жрет, пауты пулями бьют, комар тоже своего не упустит, к вечернему мороку явится. Помаленьку да полегоньку от игр и забав переводили малого человека к работе, незаметно, вроде играючи, проделывали "профорIENTATION" – учили сорную траву отличать от огородини: "Вот свеколка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они и цветом, и фигурой под свеклу обрядились, но все одно не обмануть им глазу человеческого, с исподу глянь – в пыльце они седой и цвет багряный пожиже у них; мокрица, дрема и манжетки под редиску и репу рядятся да скоренько расти норовят и тем себя выдают. Ну а за морковь чуть ли не весь травяной мусор ладит сойти – и мышехвостик, и куриное просо, и клоповник, и всякая дрянь такими невинными ресничками на свет белый является – ан распахнулись реснички и нету меж них лапочки морковной, кружевца зелененького!.." У всякой-то овощи, у всякого злака, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников-кровопийцев, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока избалованное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют, идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в землю и на земле за что придется, душат, соки из овощи сосут, обескровливают огород.. Сколько игр не доиграл из-за копотной работы мальчик?! Сколько ребячьих радостей недополучил, потому что следом за "профорIENTATION" начиналось и "трудоное воспитание". Было оно просто и, как выразились бы нынешние высокоумные педагоги, – "эффективно-действенно". Мальчика, отлыниваю- щего от утомительного труда, брали за ухо и тыкали носом в землю: "Хочешь есть – работай!" Однажды полон мальчик луковую гряду (морковные и другие гряды с мелкоростом ему еще не доверяли, лук можно, лук хорошо различается), полон, ноя под нос тягучую песню, отмахиваясь грязными руками от мошкар, звенящей рыжей осы, и внезапно пальцы его ухватили непривычное для рук, крепкое растение, упругой щепотью пропоровшее землю. Приглядевшись, мальчик сообразил – оно! Взошло! Вот тебе и на! Не верилось, что есть в костяной середке семя живина, способная воспрянуть и прорасти, а оно вот проросло, изобразилось! Как мальчик ухаживал за тем растением! А оно, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от сорняков, перло без устали вверх, опуская одно за другим ременные шероховатые листья. "Ух ты, матушки мои!" – захлебывался восторгом создателя мальчик и мерился с загадочным созданием природы, норовившим обогнать его в росте. Благоговейно притих мальчик, когда обнаружилась

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru в пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в зелень пеленок. За ней другая, третья. Детенышам холодно было северными ночами, они изморозью покрывались, но все же пересидели природные невзгоды, и чубчик белый-белый у каждой куколки из-под одежек выпрыснулся. "Ух ты, батюшки мои!" – прошептал мальчик, совершенно потрясенный, и, не поборов искушения, расковырял пеленку на одном детеныше и обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен. Зажмурившись, мальчик куснул зерна, и рот его наполнился сладким, терпким молоком. Об этом диве невозможно было не поведать людям. И люди эти – соседские парнишки, без лишних разговоров слопали то диво вместе с белыми чубчиками, с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины. Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет всех кукурузная стихия, с недоумением узнает однажды, что и в его родной деревне, где иным летом картофель в цвету бьют заморозки, лучшую землю пустят под "царицу полей" – ту самую забавную штуковину, которая как-то ненароком выросла в огороде один раз, да и то до сметанно-жидкого зерна лишь дошла. * * * Военные пути-дороги приведут моего мальчика к спаленной крестьянской усадьбе, и вид пожарища, уже облитого дождями, сгоревший огород потрясут его своей космически-запредельной остылостью и немотой. Черная картофель с вылупившимися балоболками, скрюченная сверху и чуть живая снизу; редьки и брюквы в черных трещинах; одряблые, простоквашно-кислые дыни; унылые морды подсолнухов с космами свернувшихся листьев – все-все в огороде оглушено серым тленом, ночной тишиной. Черные вилки капусты блазились головами вкопанных в землю людей; гнойно сочащиеся помидоры – недожаренным мясом с подпаленной мускульной краснотой; белые сваренные огнем сплетения лука – клубками поганых глистов. Поперек гряды на рыжих огурцах лежала женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее остановившиеся глаза, в зубах закусены стон и мука. К груди женщины, будто бабочка-капустница, приколот ножевым штыком мальчик-сосунок. Когда наши солдаты вынули штык из жиденькой его спины и отняли от материнской груди, всех сразило умудренно-старческое личико ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась хромая цыпушка. Осипло клохча, припадая на тонкий сучок перебитой лапки, она рванулась к людям, ровно бы ведая – наши, русские вернулись, и она, единственная на убитом подворье живая душа, приветствовала их и жалилась им. Доведется моему мальчику хоронить ленинградских детей, сложенных поленицами в вагоне, умерших от истощения в пути из осажденного города. Побывает он в лагере смерти и не сможет постичь содеянного там, потому что, если постичь такое до конца, – сойдешь с ума. Перевидает он тысячи убитых солдат, стариков, детей, женщин, сожженные села и города, загубленных невинных животных. Но вот огород, с черными вилками капусты на серой земле, гряды с червиво свитым белым луком, ребеночка, распятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся надругательству, цыпушку, инвалидно припадающую на остренькую лапку, он будет помнить отшибленно ото всей остальной войны – намертво врубилось в него то первое потрясение. В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дома, не в старых валенках и корзинах на полатах, а просто среди гряд на кустах; не из садовки, из семян здесь вырастали луковицы в кулак величиной. Темнокорые гладкие баклажаны сдавливали кусты, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме – хреновинами. Кукуруза росла полями, початки созревали на ней до желтизны, и молотили их тут на зерно, белые чубчики и стержни не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь нет и с дровами туго. Подсолнухи росли тоже полями – и желтые тучи поднимались над пашней, когда дул ветер, и воровать солнороты здесь не надо было, бери, ломай сколь хочешь, шелуши семя. Арбузы валялись беспризорно на земле, и, коль смотреть издаля, вроде ни к чему они и не приклеены, вроде их как попало с самолета по полю разбросали. Без зависти, с притаенной веселостью вспоминал мальчик, как греблись по-собачьи деревенские его корешки и он вместе с ними к плотам, проплывающим мимо села из теплых краев с торгом. Родная его река пересекала всю страну поперек, и если в устье ее еще стояли вечные льды, то в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от надсады и жуткой глубины под животом, парнишки выстукивали зубами: "З-зу-зу-зу!.." Выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, плотогоны швыряли кругляш в реку, и, обалдевшие от фарты и холода, отталкивая друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами, рылами арбуз к берегу, а он вертелся мячом на быстрине, усмыгивал от них, и то-то переживаний было, то-то восторгу, когда наконец изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить рожденный в теплых краях расчудесный плод. Да редко, очень редко бросали с плотов арбузы. Чаще огрызенные корки. Но и коркам были рады ребяташки, съедали их вместе с красивыми полосами, считая, что такой драгоценный плод употребляется в пищу весь без остатка. Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам сахар на родине мальчика надежно заменяли паренки из брюквы, свеклы, моркови. Да еще ягоды, которых тут

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru столько рождалось, что иными летами не корзинами, коробами из тайги ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка сказывала, когда он осиротел и не на кого было его оставить, вместе с зыбкой прихватывали малого в тайгу, привязывали зыбку за сук кедра – и на приволье, таежным духом утишенный, посапывал он. Оберут ягодники одну елань, зыбку перенесут дальше, на другое дерево перевесят, а он, глупый, даже не почувствует "вакуации". Проснется же когда, заорет – ягодок в тряпочку намнут, засунут и рот – он и довольнехонек, чмокает пользительную сладь. "Учучкаешься, бывало, в чернице до того, что пуп сорвешь, хохотавши". * *

* Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники: горькие дикие мандарины, гранаты, зерном похожие на российскую костянику, крепкий самшит, седовато-черный виноград. В поднебесье, на уступах скал, встречалось что-то похожее на огород, землю туда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили такой огород целиком и полностью, вместе с жалким урожаем и землей, обрекая на голодную смерть семьи горцев. Дивился в далеких краях и землях маковицам величиной с мячик, брюквам в пуд весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами "дамские пальчики" боевые сто грамм закусывал, розовым луком, от которого окриветь можно, картофельную драчону приправлял, озоруя, в необхватные кавуны из автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже черную розу зрел и царственную магнолию; и было, было, что уж теперь греха таить, в бессарабские виноградники по-пластунски лазил и как-то всю ночь давил там с одной смуглянкой-молдаванкой оч-чень дурманное и сладкое вино. Однако не напрасно говорится: "Хорошо на Дону, да не как на дому", – и перед глазами мальчика всегда был тот, жердями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощь, вечно боящаяся не вызреть из-за ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку. В том огороде мальчик видел радугу. Одним концом она начиналась в зеленых грядках, а другой ее конец защемило в скалистом распадке. Радуга вся была из цветной пыли: маково-алой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там был цвет совершенно неуловимый и недоступный глазу, такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами, цвет немого царства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком замороженном царстве обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах. Мальчик, не сознавая своего порыва, двинулся на ему лишь слышный зов радуги, но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, опустилась в бурьян, и, когда мальчик, жаясь о крапиву и не замечая того, вошел в межу – радуга уже за оградой, в логу оказалась. И, опечаленный, он остановился – радугу ему не догнать, не прикоснуться к ней. Радуга – это красивый несбыточный сон. В сельском огороде случилось еще чудо: из семечка-сердечка, привезенного бабкой, вылупилось растение с громадными оранжево-орущими цветами и зеленой змеей изогнулось в жалице, из жалицы взнялось на городьбу, с городьбы по углу бани взобралось на крышу, уж к трубе подползало и куда б долезло – одному Богу известно, да тут лето кончилось, ударил первый звонкий утренник. Унялась, объяла пронырливая диковина, цветы ее могильно смялись, веревка мохнатого стебля сделала студенистой, шершавые листья обратились в бросовое тряпье. Но какое удивление, какой восторг охватил малый да и взрослый народ, когда под листьями, в глубокой борозде объявился желтопузый, в банный котел величиною, ребристый кругляк. Нечаянно мальчик нашел затаившиеся в жалице еще два плода, продолговатых и тоже ребристых, что стиральная доска. Сгреб мальчик под мышки бледнопузых этих поросят, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самой уж поздней осенью, когда проредилась и упала на межу дурнина, за огородом, почти в самом логу отыскалась еще одна тыква, но все нутро ее выклевали пронырливые курицы. С того лета по сию пору буйствуют в огородах далекого села тыквы, которые бабка за пузатость тоже называла шеломенчихами и нарадоваться не могла веселым, солнцегоким круглякам, молиться, говорила, надобно на неведомого базарного человека, который такое ей редкостное семя продал. "Пусть растет! Пусть фулюганит!" – кричала бабка, одаривая односельчан семенами буйного плода. В войну тыквенная каша шибко выручала селян. Детям, своим и эвакуированным, ее как лакомство давали; больных на ноги тыквенная каша поднимала. Да и посеючас еще в трудовой семье мальчика нет-нет да и купят тыкву на базаре и заварганят – для разнообразия стола. Кашу с молоком и пшенкой едят да бабку за трапезой вспоминают: "Легкая рука у человека на овощь была!" Недаром ее сеяницей в селе нарекли, наперебой тащили садить и сеять особо капризную овощь – никто на селе лучше бабки не ведал, кого с кем мирить в огороде. Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется ныне, когда по всей Великой Руси обнажаются из-под снега, вытаивают вспоротые квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях, на загородных пустырях, на склонах гор

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек – повсюду, где обитают живые люди. Не служат нынче молебнов при начале страды, не окропляют землю водою, освещенной с иконы богородицы плодородия – Деметры, не приколдовывают хрушкой огурец с помощью зарытого в гряды пестика, да и сам огород сделался утомительным придатком жизни, особенно для горожан. С лопатами, с граблями, с мешками, на переполненных электричках, в автобусах и пешком приходится им тащиться за город на отведенный "участок". Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай Бог, снова? На кого и на что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она – кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная. Копают мальчик участок за городом, ловит носом дух прелой ботвы, печеной картохи, нарождающейся травы, и видится ему качнувшаяся под берег изба, огород за нею с бурьяном, переломанным, измочаленным зимней стужей и ветрами. Снег за банею и под яром еще сереет, а в бурьяне уже кукишки торчат трава, которую и слепой знает, – жалица. По огороду в белых кофтах и платках старухи, ребятишки, девки рассыпались, сгребают прошлогоднюю ботву, зимний прах и хлам сметают в залитую до краев бочажину, песню заводят и тут же бросают ее, громко смеются, говорят про что-то, а голая вешняя земля чадит синеватым дымком, угарно бредит теплом и зеленью. В избе еще с февраля по всем окнам садовки в ящиках стоят, семя в старых посудилах мокнет, картошка на полу рассыпана – прорастает; бабка чесноковины членит на посадку, лук сортирует – ослепла бабка, и ноги у нее отнялись – на ощупь действует, не может жить без разноделья. На осиновых жердях, мокро сочащихся на срубах, привезенных из лесу затыкать проломленную городьбу, менять одряхлевшие прясла, сидит дед, закрутив обсекившиеся, но все еще франтоватые усы, табак курит – оч-чень он любит это занятие, курит и на коня глядит. Может, и не на коня, может, смотрит он в далекую задонскую землю, откуда еще молодым лихим казаком прискакал он в Сибирь с отрядом кого-то покорять, но сам был покорен и взят в полон разбитной веселой сибирячкой, да и застрял на веки вечные в северной стороне. С гор вразнохлест катятся мутные потоки, проскабливают лед, и он, прососанный донной грязью, дырявится, киснет, будто перестоялое тесто. Вдоль лога и по увалам от ветрениц бело, хохлатки мохнатятся, баранчики желтыми ноздрями к весне принохиваются, кандык и саранки копай сколько хочешь, лакомься жирными луковками. Подле деда свои и чужие ребятишки толкуются. Выбирают таловые прутья, на вязанье резанные, пикульки из прутьев мастерят, дуют, свистят. Птицы от ребятишек не отстают, заливаются всякая на свой лад. Чинят городьбу мужики, гребут хлам в кучу ребятишки и женщины. По всей российской земле, из края в край горят весенние костры, как и во все времена, идет уборка земли, словно горницы перед большим праздником. Ухают, блажат истосковавшиеся по лугу коровы, кружит коршун над проталинами, трясет колокольцем жаворонок, утки плюхнулись в лог. Нет уже деда и бабки, и огорода того, наверное, нету, да и дома тоже. Смыло его вешноводьем под яр, ударился он морщинистым лицом в обмытые рекой камни, и рассыпались его старые кости. Не блажат коровы, не блаженствуют в лужах чушки, не култыкает конь по старой меже – нету коней на селе, заменили их машины. Но отчего, почему все видится и слышится так явственно? И сердце летит-летит в те незабвенные дали... Всю жизнь летит, в особенности веснами, и никак не приземлится, вечно бредятся какие-то перемены в жизни, хотя ведь знает же – все на земле идет кругом, все в этом круге установлено разумной чередой: следом за весенними огнями и приборкой земляной труд начинается: пахать люди будуг, боронить, сеять, в огородах овощ садить. Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя мир чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля задышит глубоко, успокоенно, рожая плоды и хлеб. Цыпушки зачиликают во дворе и тайными ходами, с младенчества известными их маме, проникнут в огород. Люто ругаясь, бабы привычно станут выгонять их, поднимая на крыло; кого-нибудь из девок во время сева иль прополки чикнет забравшаяся под подол оса, и забегает девка по огороду, без разбору топча овощь. Парни-зубоскалы станут домогаться вытащить из укушенного места жальце. Девка – существо притчеватое, за насмешку над ней Бог наказывает особо: на сенокосе найдет из гнезда попавшего под косу свирепого шершня, и оставшийся по вине косца бобылем шершень своротит просмешнику морду набок. Девки по очереди целовать укушенного примутся, исцеляя страдальца таким испытанным методом, а все другие парни станут завидовать и мечтать, чтоб их тоже укусила какая-никакая козявка. Да, если бы судьба одарила мальчика только этими радостями – и на том ей поклон земной! Но она щедрой у него оказалась и отвалила ему в детстве еще такое, что не каждому и во взрослой-то жизни выпадает... Опустившись на корточки, мальчик высматривает сквозь межевые заросли свою главную тайну. В частом, отвесно падающем травяном дожде находит он просвет – то тропка, ведущая к соседям. В просеке бурьяна, сомкнувшегося вверху, слабо мерцает, множится отблеск света. Там, за окном, в соседской избе, при свете лампы расчесывает волосы девочка, белые, мягкие,

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru словно пух одуванчика. Девочку не видно, и окно не видно, однако мальчик знает: девочку помыли в бане, и она расчесывает волосы, глядясь в старое, большое зеркало, занимающее почти весь простенок меж окон. В недвижной глубине зеркала плавают звезды, клешнястые жуки, паутина по углам клубится, похожая на траву, прихваченную инеем. Оттуда, из бездонных глубин зеркала, из растений, белых и недвижных, надвигается и смотрит на девочку другая девочка, лобастая, худющая, с широким ярким ртом, расширенными, слегка выпученными глазами. Такие глаза бывают у детей, когда им оспу на руке железкой процарапывают. Девочка водит гребнем по волосам, рассыпавшимся на костлявые плечи, на дугами выступившие ключицы, и в волосах просверкивают искры – аж дух захватывает от такой дьявольщины. Девочка появилась в жизни мальчика ошеломляющим наваждением, как и должны появляться роковые женщины-присухи. Он чем-то занимался на задах огорода, возле бочажины, может, саранки копал, может, пикульку мастерил, может, медуницу рвал, может, ершей собирался рыбачить и сучил леску из кудели, привязав ее к жердям, и внезапно что-то услышал, почувствовал. Он оторвался от дела, поднял голову и увидел ЕЕ. На старой, изжитой траве, под которой пробудилась бойкая зелень, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водой, стояла и плакала девочка в синеньком платьышке. Сердце мальчика сжалось от насквозь его пронзившей жалости – очень уж крупные слезы катились по лицу девочки и скапливались в некрасиво сморщенных алых губах. Да и худа, шибко худа была девочка, хвораая, видать. А хворых мальчик жалел, потому что сам всю зиму "на ладан дышал". В руке девочка держала такие же, как ее платье, синие цветы в белом крапе. Присмотревшись, он различил: девочкино платье тоже в крапе и с белой оборкой, но полиняло от стирки, и белое на нем осинилось. Девочка стояла меж толстых льдин, и перед нею из воды остро торчали вершинки краснотала, верба сорила пух, по березнику, ободранному отводинами саней – зимой через лог пролегла дорога, – порснули зеленые брызги, мохнатоцветла боярка по разлобью. Над головой девочки сияло солнце. Суслик стоял столбиком и чикал на девочку, не то ругая ее, не то стараясь напугать. На кучах назьма, вывезенного в лог и подмытого водой, дрались воробьи, свившись в клубок, так клубком и скатились они в холодную воду, тут же рассыпались по кустам и как ни в чем не бывало принялись сушить себя клювами. По логу брели парень и мужик, волоча за собой сеть-одноперстку. Мужик был пьяный, спотыкался, валился боком в воду и обоженно завывал. Бордовая рубаха кровавым пузырьем всплывала за спиной мужика. Парень обрывисто вылаивал: "Жми! Дави водило! Ко дну, ко дну! Не путай сеть! Пьяная зараза! А-апу-у-усти-им!" В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор кружило шалым горным потоком, свежее мелкотравье кипело от икрайной сороги, и мужик с парнем затяли черпануть рыбу сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и заклинала: "Папочка, не утони! Миленький папочка! Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!.." Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли до вершины лога или запутали и порвали сеть о коряги – мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейника, залитая слезами, повторяющая неведомое в селе, такое смешное, непривычное, но чем-то к добру и ласке располагающее слово: "папочка", – заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые задели его глаз, слух и укатились в глубину памяти: грязная сверху льдина, истекающая капелью и стеклянно роняющая звонкие карандашки на землю; вода, ревушая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдавший за рыбаками; боярка, мохнатоцветущая над головой девочки; шмель, спутавший голову девочки с белым цветком и шарившийся хоботом в пушистых ее волосах, и застрявший в горле мальчика крик: "Акусит!" Девочка приехала в село с родителями, отец ее брал подряды на выжиг известки. Поселилась семья по соседству с подворьем мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, только синее застиранное платье было и розовая линялая ленточка в пушистой растрепанной голове. Девочка собирала камешки на берегу, дышала на них, облизывала и показывала всем, какие они красивые! Деревенские ребята не умели понимать красоту, их окружающую, тем паче красоту камней, которые они топтали, прогоняли девочку, называя "шкилетиной". Опустив голову с бантом, девочка уходила за лог, собирала разные цветы и, сплетая венки, прилаживала их на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венки, – недолгий житель. И все время девочка пела нездешние, очень красивые и жалостные песни. Песнями своими жалостными, непротвением злу и роковыми, ангельски-небесными этими венками проняла девочка деревенские стойкие сердца. "Злосчастливая, видать", – вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчушки и приняли пришлютя играть в "тятя-мамы". Мальчик сразу, конечно, сообразил: быть ему "тятей" приезжей девочки – такой же он тощий, хворый, "злосчастный" такой же – и оказал

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru
сопротивление, отверг "шкилетину" наотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей дальше жить, потому как без "тятя" никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был хоть и поперешный, но жалостливый, тиранить человека долго не мог. Крякнув для солидности, он наказал хозяйке, чтоб она все по дому спроворила и блюла себя, не то... а сам взял литовку – обломок бутылочного стекла – и отправился "на сенокос", и наметал стог "сена". Девочки хозяйничали в заброшенном срубе, который в каждой российской деревне оставлен бывал кем-то, ровно бы нарочно для прятков и разных детских игр и забав. Дожидаясь с работы "самово", хозяйки стряпали оладьи и шаньги из глины, гоношили постели из травы. Мальчишка "мама", ошалелая от счастья, выявила такое проворство в делах, что все девчушки ахали и подсмеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и "ни шерсти от него, ни молока". "Ну и что? Ну и что? – заступалась за своего „тятю? хозяйка. – Зато смиренный, воды не замутит!.. И не пьющий по болести". Треснуть бы самое за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и в такой оборот взяла мальчика, что ни дыхнуть, ни охнуть, и покрепче "мужик" спасовал бы. Она не давала "мужу" делать тяжелую работу, заставляла отдыхать и набираться сил, а сама, костлявая, легкая, стремительно носилась по земле, управлялась со скотом, доглядывала ребятишек, кышкала коршунье – и все с песнями, с песнями, со смехом, с шутками. Зато как торжествовала подруга жизни мальчика, когда возвращались домой "тятя" других "мам". Не в силах переступить порог, шатаясь и падая, они ревели чего попало, требовали еще выпить, домогались, чтоб обнимали и утешали их в этой распроклятой жизни. Всплескивая руками: "Я-а-ави-и-ился-а-а, красавец ненаглядный! – девчушки набрасывались на своих „красавцев?. – Ковды ты, кровопивец, выжрешь всю эту заразу?! Ковды околеешь? Ковды ослобонишь меня, несчастну-у-у! Да чтоб тебе отрава попалась вместо вина! Гвозди ржавые вместо закуски!" При этом "мамы" целились накласть по загривку "мужьям", а те ярились: "Игде мое ружье? Игде моя бердана семизарядна? Перрыстр-реляю всех, в господа бога!.." "А мой не пьет и не курит! Я за им, как за каменной стеной!" – подперев рукой щеку, сочувствуя подружкам, хвасталась мальчишка "мама". Угнетенный ее добротой, униженный инвалидным положением, опекой, всего его опутавшей, сковавшей, не желая смиряться со своей участью, мальчик крикнул однажды: "Навязалась на мою голову!" – и сиганул с отчаяния в лог. Коренная вода еще не укатилась из лога, земля тоже не "отошла" от донной мерзлоты – мальчик простудился и снова заболел. * * * Ему виделась мулька с пузырьком. Пузырек был когда-то икринкой, даже оболочкой икринки, и помог мулке, выткнувшейся из икринки, подняться с давящей глубины к воздуху, к свету, к теплой приборной поде. Но пузырек отчего-то не отделялся от мульки, похожей на личинку комарика, а не на рыбу, и она мучилась, стирая его об воду, судорожно дыша крошечными щелками жабер. Объединившиеся в стаю мульки уже не слепо, с осознанным страхом металась от опасности, учились кормиться. Движимые братством, тягой ли к мучительству, мульки стрелочками подлетали вверх и теребили рыбку за пузырек. Обессиленная мулька легла боком на дно, и ее покатило течением, словно серебрушку, – и уразумел тогда мальчик: жизнь начинается с муки и заканчивается мукой. Но между двумя муками должно же быть что-то такое, что заставляет и неразумную рыбку так истово сопротивляться обрывающему все страдания успокоению. Затянутый пузырьком, повисший в небесах над бездонной глубиной, в одном шаге от мягко обволакивающего покоя, мальчик сопротивлялся смерти, пытался прорвать душный пузырек, отлепиться от него и скорее свалиться под крышу беспокойного, часто невыносимого, жестокого, гулевого, скандального дома, в котором уютится и множится необузданно-дикая и все-таки заманчивая жизнь. Пузырек был тонок, непрочен, но сил у мальчика осталось так мало, что он не мог прорвать его. Пузырек вбирал мальчика в удушливую слизь, всасывая в себя все самое нужное, самое интересное из жизни мальчика, окружая его водянистой пустотой, немой, непроглядной и бесцветной. Лишь редко-редко что-то проскальзывало в мутной жиже. И начала кружиться над мальчиком ласточка. "По-бурлацки напевая, по-солдатски причитая..." – та самая... Глухие, однотонные звуки проникали через пленку пузырька, достигали слуха мальчика, и он догадывался – это его стон, которым просил он, чтоб в плавающей жаркой мути появилось что-нибудь такое, что вызволило бы его из удушливого пузырька, проник бы хоть один глоток чистого, прохладного воздуха, появилось бы хоть чье-то лицо. И он дозвался-таки! Ему явилась "жинка" с бантом и пушистых волосах, приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы томительного одиночества и покорности, занимающейся в изможденном теле. "Возьми! Возьми за ручку!" – послышалось издали. Девочка тряхнула головой – и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Уверенно, как фельдшерница, девочка сжала слабые пальцы мальчика и очень уж как-то пронзительно, требовательно и нежно глядела на него. И уразумел тогда мальчик: женщина есть всего сильнее на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своею добротой. На что мала, невзрачна эта вот девочка, но уже умеет управлять с большим и помогать ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому лбу и, дрожа от корящей жалости, прошептала: "Ну, назови меня шкилетиной, назови!" Никто, кроме матери, не мог предложить такое неслыханное бескорыстие, никто! Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась женщина, способная на самопожертвование, доступное только матери. И хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу благородством. Вознесенный подвигом женщины на такую высоту, где творятся только святые дела, он с мучением отверг ее жертву. И тоже поднятая мужским рыцарством до небес, задохнувшаяся от ошеломляющих чувств, способных спалить женскую душу дотла, она самозабвенно, больно принялась стучать себя в узенькую грудь его костлявой рукой, поспешно, чтоб не перебили, захлебисто выставляя: "Шкилетина! Шкилетина! Шкилетина!" Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырьки. Он прижал ладони к глазам, чтоб девочка не видела его слабости. А она ничего и "не видела". Остановив прожигающие насквозь ее нутро бабьи слезы, обыденно и в то же время с умело скрытым, взрослым состраданием она деловито и покровительственно уговаривала: "Ну уж... Че уж. Ладно уж... Бог даст, поправисси!" Тетки, бабушка, соседки уверяли потом – выздоровленье произошло от святой воды, от молитвы, которую бабка творила денно и ночью, от настоя борца и каменного масла, но мальчик-то доподлинно знал, отчего перебог болезнь, а вот, поправившись, стал дичиться девочки. Она чувствовала тайну, меж ними зародившуюся, лишившую их свободы, и терпеливо ждала, когда мальчик первым, как и полагается мужчине, подойдет и предложит: "Давай снова играть вместе!" Ждала, ждала и сделалась выше его ростом, избегать парнишек стала, не играла уж в "тяти и мамы" в заброшенном срубе, в лес ходила только с подружками, нагишом при всех не купалась. Известкарь меж тем выкопал печь в берегу, выжег и загасил в яме известку, после гулял широко, раздольно, взбудоражил все село. Пропив получку, погрузил семью в лодку да и отбыл тихо-мирно в неизвестном направлении. С рождения укоренившаяся в мальчике вера: все, что есть вокруг, – незбылемо, постоянно, никто никогда и никуда не денется из этого круга жизни – рухнула! Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя на пустынную реку, причитал: "Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!.." Много лет он носил в себе беспокойство и тоску и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой, мучительным ожиданием, счастливо выдохнул, припадая к ней: "Девочка моя!" Но та, что исцелила его в детстве, осталась в нем таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним все в том же синем платьишке, все с теми же цветками в руке – дикими ирисами. Все так же, все то же, только высветленной, ярче, солнечней сделалось там, в далекой дали: грязная льдина рассыпалась алмазами; взбулгаченный лог поголубел, берега его обметало золотом калужника; воробы, обратившись в радужных зимородков, расселись по гибким прутьям краснотала; боярка душистая, мохнатая, уж не боярка, а какое-то заморское растение; канули в небытие пьяный мужик и парень, завывающие от холода; корова, пустившая жвачную слюну до земли, пастух в драных бахилах, навозные кучи в логу. И девочка была не "шкилетиной" корзубой, с диковато-шалыми, навывкат, глазами ребенка, она стала стройной, голубоглазой, и ленточка в ее волосах, что цвет шиповника, розовая-розовая, и платье на ней беленькое, новое – подол до самой травы. И тогда, за логом, при их первой встрече девочка не плакала, девочка смеялась, колокольцем названивая, и солнце сияло над ее головой, и небо было высокое-высокое, чистое-чистое, голубое-голубое, как ее глаза, – это он помнит точно! Померк свет на тропе – унесли соседи лампу из горницы в куть, чаевничать будут долго, с чувством, штук пяток самоваров опорожнят, прежде чем сморются и отойдут ко сну. Затемнел, стеной сомкнулся межевой бурьян; пырей, что дождь, долговяз, в земле увяз. Мальчик распрямился. Хрустнуло в коленях, иголки посыпались под штанами по ногам, плавающую по лицу улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертухнулся и упал тенью за межу козодой, настигший жука-хруща. За городьбой, в лугах, гулко билось коровье ботало, и в тон ему, размеренно и заупокойно кричала ночная птица в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все равно он обмирал от ее голоса, она снилась ему в виде огромного коршуна с чертячьей головой и коровьими рогами. Над огородом, словно над озером, воронкой кружило чистые пары. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка прохлада. По логу она спускалась к реке, устаивалась под ярами, издырявленными береговушками. Но меж гряд, в политой на ночь овощи устоялось скопившееся за день тепло. На самом утре, когда перестанет качать било ночная птица в горах и угомонится мухоловка, студеные токи просочатся по логу с гор, из лесов, и все тогда на грядках засеет

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru

осыпью росы, и огород сонно утихнет, распустится листом, склонится к земле в дремном умиротворении, наполненном влагой, ожидая тепла, солнца. Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не видел, как идет в рост всякое растение. "И не надо этого видеть". Ведь вот же он, мальчик, не заметил, как сам-то рос, поднимался, значит, есть таинство не только в сотворении жизни, но и в движении ее, в росте. Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни и, хотя ничего еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует: все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может, и поклонения. Даже махонькие мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и свою имеют тайность. Когда мальчик шел в баню и тетки, сердитые оттого, что навязали им малого, торопили его, дергая за руку, он заметил клубящихся над грядами мошек. Распадок струил закатный свет в огород, и в этом остатном проблеске, будто на вытянутом половике, столбились, как говорят в народе, "толкли мак", серенькие мушки. Мальчик утянул голову, опасаясь, что его облепят, искусают мушки, но они лишь колыхнулись, отодвинулись в сторону и снова влились в полосу света, искрами засверкали в нем. Не было им дела ни до кого. Захваченные благоговейным танцем любви, который казался бестолковой толчеей, мушки, изнемогающие в короткой губительной страсти, правили свой праздник, переживали природой подаренное им мгновение. Танец на угасающем луче, миг жизни, истраченный на любовь, маковым зерном уроненная в траву личинка – и все. Но они познали свое счастье. И другого им не надо. При ярком свете, при жарком солнце мушки ослепли и сгорели, и крохотные их сердца не выдержали бы другого, большего счастья, разорвались бы в крохотных телах... Сероватая темь стоит в распадке. По отдельности выступает каждая жердь огорода, вылуженно блестит от сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и дерев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, глубоко, слышно дышит сгиснугая горами река, и от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к небу, где мерцают бледные, на помидорный цвет смахивающие, незрелые еще летние звездочки. А мушки упали наземь, в капусту. Вялые, ко всему уже безразличные, две или три из них коснулись шеи мальчика, заползли под холщовую жесткую рубаху, приклеились к потному телу. На капусте сыщут, склюет мушек зоркая птичка – мухоловка и целым пучком снесет их в клюве своим зеворотым детишкам, а те, питаясь, будут быстро расти и оперяться, капуста же, избавленная от тли, ядреть примется и, как поп, который хоть и низок, обрядится во сто ризок. В реку упавших мушек будут хватать мулявки и от пищи становиться рыбами – мушки и мертвые продолжают служение более сильной, продолжительной и устойчивой жизни. Стало быть, все эти букашки, божи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, едва ползающие от сырости по брюкве, – все-все они есть не зря, все они выполняют назначенную им работу, все что-то делают на земле, а главное, живут и радуются жизни. Ну а сорняк на грядах, жалица эта проклятая, сороки, жрущие мухоловкины яйца, кусучие слепни и пауты, которым ребята учиняют фокус – вставляют в задницу соломинку и отпускают с таким трофеем на волю? А гадюка шипучая в смородине, а комары, а мошки, а клещи в лесу?! Этим кровососам, сволоте этой, теснящей и жрущей все разумное и полезное, тоже, значит, торжествовать и радоваться?! Ах ты, батюшки мои! Сложно-то как! И спросить не у кого... Бабка дома, дед в баню собирается, тетки моются, дядья коней в луга угнали, земля молчит. Не у кого спросить. Сам думай, сам ищи ответ, раз задачу сам же себе задал, а тут сморило всего, спать тянет, думать ни о чем не хочется... Да ну их, все эти вопросы и задачи! Потом, потом, когда вырастет, само собой все и ответится, и решится, а пока, обмякший от накатывающего сна, мальчик идет к калитке, неся в сердце умиротворение, сопротивляясь дремоте и невнятно повторяя себе под нос: "Сон да дремота – поди на болото!" Нашарив волглую веревку, мальчик снимает ее с деревянного штыря и еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. По-за огородом, в лугах, идет истовая, дружная косьба. Стрекотом кузнечиков так все переполнено, что уж слит тот многомоторный звук воедино с ночью, с земной утишенностью, даже плотнее он делает ночную тишину. Тот кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, распалил себя, искупая свое упущение, звончее всех строчит из огорода в небесную высь, сдается, пучеглазый этот стрекотун даже зажмурился в упоении. Дух плодов и цвета, вобравший в себя ведомые мальчику запахи, уверенно стоит в чаще огорода, оттесняя запахи леса, и трав, и бурьянов. Но и в этом запахе, как бы паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый дурман табака, угарно-горького мака, лопухо прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Маленькую маковку с белым еще семенем в середке берегут от холода метляками слипшиеся лепестки. Запахи моркови и укропа точат нос, но глушит его рясно зацветающая маслянистая конопля, которую кидает ветер блошкой, а она натрясет полное лукошко. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой хвоей отдающий укроп, весь огородный, трудовой дух забьет поутру, после восхода солнца, навально катящимися с гор, упругими волнами

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru разогретой серы-живицы со стволов сосняка, кедров, лиственниц и елей. * * * Из пухлой, залитой зеленой гущиной пластины наносной земли, возделанной человеческими руками, над которой если и ветер гулял... то пухлым казался, невозможным, навеки канувшим представлялось то время, когда пустой, ровно бы военное нашествие переживавший, истыканный, искорябанный, лунками израненный, будет стариковски уныло прозябать огород. ...Кучи картофельной ботвы как попало разбросаны по огороду. На сквозном ветру колючий осот бородой трясет, сопливая паутина обвисла на исхудалой, растрепанной межевой дурнине; ястребинка сорит грязным, дрянным семенем; розетки дикого аниса, жабрей, лебеда, чернобыльник осыпаются, цепляются за все, а уж репейник, что дедушка, осердился, в бабушку вцепился, ну везде-езде он: в хвостах собак и коров, в гривах коней, в рубахах, в штанах и даже в башке, в волосьях царапается и уцепится – выдернешь с горстью волос. От кого и радость, так это от хрена – зеленеет бродяга, бодрится молодо, из бурьянной глухомани он, словно из кутузки, на свет Божий вывалился, радехонек воле. Сбежались тучки в одну кучку, березы в лесу понизу ожелтелились, коровы, кони и собаки спиной к северу ложатся, перелетные птицы в отлет дружно пошли – верные ворожеи: быть скорому ненастью, быть ранней осени. Остающиеся в зиму пташки грустны, нахохленны. Сытые вороны угрюмо сидят на коньке бани, по веткам черемух обвисли, на пошатнувшихся колях окаменели, могильно- скорбные, задумались они о жизни, впали в тягучую тоску иль дрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесье, плесенью опутала она прокислые листья бурьяна. Обнажились в межах мышинные и кротовые норы. За баней в предсмертно и оттого яростно оцетинившейся крапиве обнаружилась цыпушка, которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не тронутая. Татарник шишки раскрыл, сорит из них волокнистый пух. Носит пух по-над огородом и пустой землю, бросает в чашу, гоняет по реке. Хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают пушинки за муху иль метляка, выпрыгивают наверх, хватают их, после сердито головой трясут, выплевывая липкую нечисть изо рта. Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и река уже берется со дна дремотой, в воздухе день ото дня все меньше сини, туманы по утрам плотнее, и лампы в избах засвечивают рано. Перезрелая, но все еще темная конопля, качнет ее, чуть тронет ветром, засорит свинцовой дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики, бухают палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот, хрустят так, что беззубые старики завистливо сердятся, гонят ребятишек заниматься молотьбой по-за глазами. Щеглы, овсянки, чижи, синицы из лесу на огороды слетелись, шелушат репейники и коноплю. Воробьи, по-здешнему чивили, объединились в стаи и такие побоища поднимали, что по всему селу гомон разносился, над межами пух и перья летели. Мятые, растрепанные, летошние чивили жаловались: "Что мы, что мы нехорошего сделали? Учили воровать? Воруем! Учили чирикать? Чирикаем! Чем мы, чем мы не угодили папе с мамой?!" Старый воробей, со спины коричневый, по груди и пузцу седой от жизненных невзгод, глядел из-под лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненный беспредельной горести: "И это мои дети?!" Деловито чирикнув, он спархивал в сухой бурьян. Опасливо, один по одному, следом за ним в межевую глушь ныряли и молоденькие чивили. Из кормных зарослей начинали раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он снизошел – выслушал похвалы в свой адрес. Оказывается, возня, побоище были всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость, увертливость, но и смекалка – семя с кустов конопли вытряхивалось на землю – и клюйте его, набирайтесь сил, дети! "Ну папа! Вот это папа! Где вы, где вы можете иметь такого папу!" – заливались жирующие чивили. В печальные, закатные дни осени какое-то неприкаянное, виноватое объявится ненадолго солнце, и на затужалой земле очнется, воспрянет какая-никакая поросль – вяло, бледно зазеленеет день-деньской мокрая отава; один-другой цветок куль-бабы засветится; бабочка над огородом запорхает; сонный шмель загудит, слепо тыкаясь во что попало; из старой черемухи ящерики на теплые бревна бани выбегут; кузнецы попробуют литовки точить; на огуречной гряде, вроде бы уж насмерть убитой, среди желтой слизи вздымется одна-другая плеть. Болезненные цветочки, похожие на окурки, родят тоже болезненные, "не божецкие" плоды с худым, пупыристым задком иль с рахитно вздутым пузцом, головастика выдадут иль в загогулину плод изогнут, а то уродливыми близнецами они слепятся... Огурчики, травка, блеклый цветок, вялая бабочка над огородом, отрывистое чиканье кузнецов – последний вскрик золотой осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от ночной стыни, и как-нибудь, еще до рассвета, отбелится тесовая крыша бани, засверкает искристо ствол старой черемухи, захрустит под ногами топтун-трава, ломкими сделаются лопухи хрена, бочажину охватит морщинистым ледком. Падет пронзительная тишь на округу, и еще далекое, еще не слышное утро белым вздохом найдет печальное, едва уловимое предчувствие зимы. А перед самым мясоедом на небе кто-то примется теревить гусей, и устало присмирившую, успокоенную землю покроет белым пухом. Нет, не

Астафьев Виктор Петрович Ода русскому огороду astafevvictor.ru думает мальчик о холоде и зиме, не хочется ему об этом думать, как не умеет и не может еще он думать о старости и о каких-либо жизненных невзгодах – виденье осени лишь вскользь коснулось его души, согретой мягким, благостным теплом, и исчезло без следа. * * * Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно заматывает веревку. Все в нем напиталось огородными духмяностями, аж ноздри точит и на чих позывает. Во рту шершаво, словно от недоспелой черемухи, хочется парного молока, а оно, знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба. Возле дощатой калитки оставлены опорки. Во дворе земля истолчена скотом. Мальчик, нащупывая опорки ногами, замечает свет в кухонном окошке, и совсем хорошо на сердце делается: увидеть "нечаянно" свет в родном доме – к счастью! Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся Пират, знаменитый тем, что у новопоселенки-фельдшерицы, квартирующей вместо известняка, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную знерушку. С тех пор Пират пожизненно посажен на цепь, безутошно же рыдавшая по собачке постоялица обзывает его смешным, нерусским словом "каннибал" и боязливо, боком скользит по двору, когда приходит за молоком, хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дорожке подсвинка и питавшейся исключительно пряниками. Сунув ноги в холодное нутро опорок, мальчик зашел под навес, потрепал по пыльному загривку мученика-пса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни, но не прощенную людьми. Сами-то себе они ой сколько прощают! Пират признательно облизал лицо мальчику и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру. В просквоженной добротой и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность напополам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И еще – вот ведь оказия какая! – заплакать приспело. Обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется, – прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать!.. Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отсвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения и какое-то время оголенным сердцем чувствую едва осязаемое касание дальнего света, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью. Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть – и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть какого-нибудь... Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладонь под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие, радужные сны. Грозные сны досмотрю за него я. 1971–1972

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!